Похищенный

Автор:
Роберт Стивенсон

Похищенный

Роберт Льюис Стивенсон

Приключения Дэвида Бэлфура #1

Записки о приключениях Давида Бальфура в 1751 году, о том, как он был похищен и потерпел крушение; о его страданиях на пустынном острове; о его странствовании по диким горам; о его знакомстве с Аланом Бреком Стюартом и другими выдающимися якобитами шотландской горной области; и обо всем, что он претерпел от рук дяди своего Эбенезера Бальфура, ложно именовавшегося владельцем Шооса, писанные им самим и ныне изданные Робертом Льюисом Стивенсоном.

Роберт Стивенсон

Похищенный

Kidnapped (1886)

Перевод О. В. Ротштейн, 1901.

* * *

Посвящение

Дорогой мой Чарлз Бакстер! Если вы когда-нибудь прочитаете этот рассказ, то, вероятно, зададите себе больше вопросов, нежели я мог бы дать ответов. Так, например, вы спросите: каким образом убийство в Аппине пало на 1751 год; каким образом Торренские скалы придвинулись так близко к Эррейду или почему опубликованный отчет об этом деле совсем ничего не говорит обо всем, что касается Давида Бальфура? Ведь эти орехи мне не по зубам. Но если вы меня спросите о том, виновен ли Алан или невиновен, то я полагаю, что могу постоять за свой рассказ. Вы могли бы сами убедиться в том, что местное предание в Аппине и доднесь явно высказывается в пользу Алана. Если вы наведете справки, то можете узнать, что потомки «другого человека», того, что стрелял, и теперь еще существуют в той местности. Но можете спрашивать сколько угодно, а имени этого «другого» вы не услышите: горцы свято соблюдают эту тайну, уважая вообще всякие тайны, и свои собственные и своих сородичей. Я могу с успехом оправдывать один пункт, но должен признать, что другой пункт оправдать невозможно; лучше уж признаться сразу, как мало интересует меня желание быть точным. Я пишу книгу не для школьной библиотеки, а для чтения зимними вечерами, когда занятия в классах уже кончены и приближается время сна. Честный Алан, который в свое время был лихим воякой, в своем новом перерождении выведен мною не с каким-либо особым злодейским умыслом, а только затем, чтобы отвлечь внимание какого-нибудь юного джентльмена от Овидия и обратить его хоть ненадолго на горную Шотландию и на минувшее столетие и отпустить его в постель в таком настроении, чтоб в его снах появились кое-какие заманчивые образы.

От вас, мой дорогой Чарлз, я не могу и требовать, чтоб этот рассказ вам пришелся по вкусу. Но он, может быть, понравится вашему сыну, когда он подрастет; ему будет приятно найти имя своего отца на форзаце книги. В то же время мне отрадно начертать это имя здесь в память о многих днях, большею частью счастливых, хотя иногда и грустных, но о которых теперь с интересом вспоминаешь. Если мне кажется удивительным, что я могу бросить взгляд назад сквозь двойное расстояние времени и пространства на приключения нашей юности, то для вас это, быть может, еще удивительнее, как для человека, который ходит по тем же самым улицам и может завтра же отворить дверь старой залы, где мы начали свое ознакомление со Скоттом и Робертом Умчетом и с нашим возлюбленным, но так малоизвестным Мекбином; или пройти в тот

уголок, где собирались митинги великого общества I. J. R., где мы пили свое вино и сидели на тех же местах, где когда-то сиживал Берне со своими друзьями. Мне кажется, что я вижу, как вы ходите по этим местам среди белого дня, видите их своими собственными глазами, тогда как для вашего товарища все это может быть только предметом сновидений. Как прошлое звучит в памяти во время перерывов среди текущих дел и занятий! Пусть же это эхо чаще звучит для вас и будит в вас мысли о вашем друге.

Р. Л. С.

Скерривор, Бурнемут.

I. Я отправляюсь в Шоос-гауз

Рассказ о моих приключениях я начну с июньского утра 1751 года, когда в последний раз я запер за собою дверь отчего дома. Пока я спускался по дороге, солнце едва освещало вершины холмов, а когда дошел до дома священника, в сирени уже свистали дрозды и предрассветный туман, висевший над долиной, начинал подниматься и исчезать.

Добрейший иссендинский священник, мистер Кемпбелл, ждал меня у садовой калитки. Он спросил, позавтракал ли я, и, услыхав, что мне ничего не нужно, после дружеского рукопожатия ласково взял меня под руку.

– Ну, Дэви, – сказал он, – я провожу тебя до брода, чтобы вывести тебя на дорогу.

И мы молча двинулись в путь.

– Жалко тебе покидать Иссендин? – спросил он немного погодя.

– Я мог бы вам на это ответить, если бы знал, куда я иду и что случится со мной, – сказал я. – Иссендин – славное местечко, и мне было очень хорошо здесь, но ведь я ничего больше и не видел. Отец мой и мать умерли, и, оставшись в Иссендине, я был бы от них так же далеко, как если бы находился в Венгрии. Откровенно говоря, я уходил бы отсюда очень охотно, если бы только знал, что на новом месте положение мое улучшится.

– Да! – сказал мистер Кемпбелл. – Прекрасно, Дэви. Значит, мне следует открыть тебе твое будущее, насколько это в моей власти. Когда твоя мать умерла, а отец твой – достойный христианин! – почувствовал приближение смерти, он отдал мне на сохранение письмо, сказав, что оно – твое наследство. «Как только я умру, – говорил он, – и дом будет приведен в порядок, а имущество продано (все так и было сделано, Дэви), дайте моему сыну в руки это письмо и отправьте его в Шоос-гауз, недалеко от Крамонда. Я сам пришел оттуда, – говорил он, – и туда же следует возвратиться моему сыну. Он смелый юноша и хороший ходок, и я не сомневаюсь, что он благополучно доберется до места и сумеет заслужить там всеобщее расположение».

– В Шоос-гауз! – воскликнул я.

– Никто не знает этого достоверно, – сказал мистер Кемпбелл. – Но у владельцев этой усадьбы то же имя, что и у тебя, Дэви. Бальфуры из Шооса – старинная, честная, почтенная семья, пришедшая в упадок в последнее время. Твой отец тоже получил образование, подобающее его происхождению; никто так успешно не руководил школой, как он, и разговор его не был похож на разговор простого школьного учителя; напротив (ты сам понимаешь), я любил, чтобы он бывал у меня, когда я принимал образованных людей, и даже мои родственники, Кемпбеллы из Кильренета, Кемпбеллы из Денсвайра, Кемпбеллы из Минча и другие, все очень просвещенные люди, находили удовольствие в его обществе. А в довершение всего сказанного вот тебе завещанное письмо, написанное собственной рукой покойного.

Он дал мне письмо, адресованное следующим образом: «Эбенезеру Бальфуру, из Шооса, эсквайру, в Шоос-гауз, в собственные руки. Письмо это будет передано ему моим сыном, Давидом Бальфуром». Сердце мое сильно забилось при мысли о блестящей будущности, внезапно открывшейся предо мной, семнадцатилетним сыном бедного сельского учителя в Эттрикском лесу.

– Мистер Кемпбелл, – сказал я прерывающимся голосом, – пошли бы вы туда, будь вы на моем месте?

– Разумеется, – отвечал священник, – и даже не медля. Такой большой мальчик, как ты, дойдет до Крамонда (недалеко от Эдинбурга) в два дня. В самом худшем случае, если твои знатные родственники – а я предполагаю, что эти Бальфуры тебе сродни, – выставят тебя за дверь, ты сможешь через два дня вернуться

обратно и постучать в дверь моего дома. Но я надеюсь, что тебя примут хорошо, как предсказывал твой отец, и со временем ты будешь важным лицом. А затем, Дэви, мой мальчик, – закончил он, – я считаю своей обязанностью воспользоваться минутой расставания и предостеречь тебя от опасностей, которые ты можешь встретить в свете.

При этих словах он немного помешкал, размышляя, как бы поудобнее сесть, потом опустился на большой камень под березой у дороги, с важностью оттопырил верхнюю губу и накрыл носовым платком свою треугольную шляпу, так как солнце теперь светило на нас из-за двух вершин. Затем, подняв указательный палец, он стал предостерегать меня сперва от многочисленных ересей, которые нисколько не соблазняли меня, и убеждать не пренебрегать молитвой и чтением библии. Потом он описал мне знатный дом, куда я направлялся, и дал мне совет, как вести себя с его обитателями.

– Будь уступчив, Дэви, в несущественном, – говорил он. – Помни, что хотя ты и благородного происхождения, но воспитан в деревне. Не посрами нас, Дэви, не посрами нас! Будь обходительным в этом большом, многолюдном доме, где так много слуг. Старайся быть осмотрительным, сообразительным и сдержанным не хуже других. Что же касается владельца, помни, что он – лэрд[1 - Лэрд – в Шотландии то же, что лорд в Англии.]. Скажу тебе только: воздай всякому должное. Приятно подчиняться лэрду; во всяком случае, это должно быть приятно для юноши.

– Может быть, – отвечал я. – Обещаю вам, что буду стараться следовать вашему совету.

– Прекрасный ответ, – сердечно сказал мистер Кемпбелл. – А теперь обратимся к самой важной материи, если дозволено так играть словами, или же к нематериальному. Вот пакетец, в котором четыре вещи. – Говоря это, он с большим усилием вытащил пакет из своего бокового кармана. – Из этих четырех вещей первая принадлежит тебе по закону: это небольшая сумма, вырученная от продажи книг и домашнего скарба твоего отца, которые я купил, как и объяснял с самого начала, с целью перепродать их с выгодой новому школьному учителю. Остальные три – подарки от миссис Кемпбелл и от меня. И ты доставишь нам большое удовольствие, если примешь их. Первая, круглая, вероятно, больше всего понравится тебе сначала, но, Дэви, мальчик мой, это лишь капля в море: она облегчит тебе только один шаг и исчезнет, как утренний туман. Вторая, плоская, четырехугольная, вся исписанная, будет помогать тебе в жизни, как

хороший посох в дороге и как подушка под головой во время болезни. А последняя, кубическая, укажет тебе путь в лучший мир: я буду молиться об этом.

С этими словами он встал, снял шляпу и некоторое время в трогательных выражениях громко молился за юношу, отправляющегося в мир, потом внезапно обнял меня и крепко поцеловал; затем отстранил от себя и, не выпуская из рук, долго глядел на меня, и лицо его было омрачено глубокою скорбью; наконец, повернулся, крикнул мне: «Прощай!» – и почти бегом пустился обратно по дороге, которою мы только что шли. Другому это показалось бы смешным, но мне и в голову не приходило смеяться. Я следил за ним, пока он не скрылся из виду: он все продолжал торопиться и ни разу не оглянулся назад. Мне стало ясно, что причиной всего была разлука со мной, и совесть стала сильно упрекать меня; сам я был очень счастлив, уходя из тихой деревенской глуши в большой, шумный дом, где жили богатые и уважаемые дворяне одного со мной рода и имени.

«Дэви, Дэви, – думал я, – видана ли где такая черная неблагодарность? Неужели при одном намеке на знатность ты можешь забыть старых друзей и их расположение к тебе? Стыдно, Дэви, стыдно!»

Я сел на камень, с которого только что встал добрый священник, и открыл пакет, чтобы посмотреть подарки.

Я догадывался, что то, что мистер Кемпбелл называл кубической вещью, было, конечно, карманной библией. То, что он называл круглой вещью, оказалось шиллингом; а третья вещь, которая должна была так замечательно помогать мне, и здоровому и больному, оказалась клочком грубой желтой бумаги, на котором красными чернилами были написаны следующие слова:

«Как приготовлять ландышевую воду. Возьми херес, сделай настойку на ландышевом цвете и принимай при случае ложку или две. Эта настойка возвращает дар слова тем, у кого отнялся язык; она помогает при подагре, укрепляет сердце и память. Цветы же положи в плотно закупоренную банку и поставь на месяц в муравейник, затем вынь и тогда увидишь в банке выделенную цветами жидкость, которую и храни в пузырьке; она полезна здоровым и больным, как мужчинам, так и женщинам».

Внизу была приписка рукой священника: «Также ее следует втирать при вывихах, а при коликах принимать каждый час по столовой ложке».

Я, разумеется, посмеялся над этим, но то был нервный смех. Поскорее повесив свой узел на конец палки, я перешел брод и стал подниматься на холм по другую сторону речки. Наконец я добрался до зеленой дороги, тянущейся среди вереска, и кинул последний взгляд на иссендинскую церковь, на деревья вокруг дома священника и на высокие рябины на кладбище, где покоились мои родители.

II. Я достигаю места назначения

Наутро второго дня, достигнув вершины холма, я увидел перед собой всю расположенную на склоне страну, до самого моря, а посреди этого склона, на длинном горном кряже, – Эдинбург, дымивший, как калильная печь. На замке развевался флаг, а в заливе плавали или стояли на якорях суда. Несмотря на очень далекое расстояние, я мог все ясно разглядеть, и мое деревенское сердце от радости готово было выпрыгнуть из груди.

Затем я миновал дом пастуха, где мне довольно грубо указали, как добраться до Крамонда. И так, спрашивая то одного, то другого, я шел мимо Колинтона все к западу от столицы, пока не вышел на дорогу, ведущую в Глазго. А на ней, к великому моему удовольствию и удивлению, я увидел солдат, маршировавших под звуки флейт; впереди на серой лошади ехал старый генерал с багровым лицом, а сзади шла рота гренадеров в шапках, напоминавших папские тиары. Во мне зашевелилось чувство гордости при виде военных в красных мундирах и при звуке веселой музыки.

Немного дальше мне объяснили, что я в Крамондском приходе. Тогда я стал осведомляться о Шоос-гаузе. Казалось, что мой вопрос всех удивляет. Сперва я подумал, что моя простая деревенская одежда, запылившаяся в дороге, плохо вязалась с величием этого места. Но, после того как двое или трое, одинаково взглянув на меня, уклонились от ответа, мне начало приходить в голову, что в самом Шоос-гаузе есть что-то странное.

Чтобы рассеять свои опасения, я переменил форму вопросов, и, увидев честного малого, который ехал по проселочной дороге, стоя на телеге, я спросил, слыхал ли он когда-нибудь про Шоос-гауз.

Он остановил телегу и посмотрел на меня так же, как и другие.

– Да, – отвечал он. – А что?

– Это большая усадьба? – спросил я.

– Разумеется, – отвечал он. – Дом очень большой.

– Ну, – спросил я, – а что за люди живут там?

– Люди! – воскликнул он. – С ума ты сошел! Там нет людей.

– А мистер Эбенезер? – спросил я.

– О да! – сказал он. – Если тебе нужен лэрд, то он там. Какое у тебя к нему дело, любезный?

– Мне сказали, что могу найти у него место, – сказал я, стараясь казаться как можно скромнее.

– Что? – закричал человек так громко, что даже лошадь вздрогнула. – Вот что, любезный, – продолжал он, – это, конечно, не мое дело, но ты кажешься мне порядочным малым… Послушай-ка моего совета и держись подальше от Шоос-гауза.

Потом я встретил юркого человечка в красивом белом парике и понял, что это цирюльник, который совершает свой обход. Так как мне было известно, что все цирюльники большие болтуны, то я без обиняков спросил его, что за человек мистер Бальфур из Шоос-гауза.

– О, – сказал цирюльник, – он очень мало похож на человека!

И начал хитро расспрашивать, что мне нужно, но я был еще хитрее, и он пошел к своему клиенту, не узнав ничего больше того, что знал сам.

Не могу описать, какой удар это все нанесло моим ожиданиям! Чем туманнее были обвинения, тем они мне меньше нравились, так как оставляли обширное поле для воображения. Что же это за дом, когда один вопрос: «Где он находится?» – заставляет весь приход вздрагивать и таращить глаза? И что это был за лэрд, когда дурная слава о нем бежала по всем дорогам? Если после часовой ходьбы я мог бы вновь очутиться в Иссендине, то бросил бы свою затею и вернулся бы к мистеру Кемп-беллу. Но я забрался уже так далеко, что самолюбие не позволяло мне отступить, не проверив, в чем дело; из одного только самоуважения я должен был довести его до конца. И хотя мне было очень не по душе все, что я слышал, я все-таки, хотя и замедлив шаги, продолжал спрашивать дорогу и идти вперед.

День близился к закату, когда я встретил полную темноволосую женщину с угрюмым лицом, устало спускавшуюся с холма. Когда я обратился к ней с моим обычным вопросом, она круто повернула назад, проводила меня до вершины, с которой только что спустилась, и показала мне на громадное строение, одиноко стоявшее на лужайке в глубине ближайшей долины. Местность вокруг была очень красива. Невысокие холмы были покрыты лесом и богато орошены, а поля, на мой взгляд, обещали необыкновенный урожай. Но самый дом мне показался какой-то развалиной. К нему не вело дороги; ни из одной трубы не шел дым, а вокруг него не было ничего похожего на сад. У меня упало сердце.

– Как? Это? – воскликнул я. Глаза женщины враждебно сверкнули.

– Это Шоос-гауз! – закричала она. – Кровь строила его, кровь остановила постройку, кровь разрушит его. Смотри, – воскликнула она, – я плюю на землю и призываю на него проклятие! Пусть все там погибнут! Если ты увидишь лэрда, передай ему мои слова, скажи ему, что Дженет Клоустон в тысячу двести девятнадцатый раз призывает проклятие на него и на его дом, на его хлев и конюшню, на его слугу, гостя, хозяина, жену, дочь, ребенка – да будет ужасна их гибель!

И женщина, чей голос звучал как жуткое заклинание, внезапно подпрыгнула, повернулась и исчезла. Я продолжал стоять на том же месте, и волосы мои поднялись дыбом. В те времена люди верили в ведьм и боялись проклятий. Проклятие этой женщины, являвшееся как бы предостережением, чтобы я

остановился, пока еще было время, совершенно лишило меня сил.

Я присел и стал смотреть на Шоос-гауз. Чем больше я смотрел, тем местность мне казалась красивее. Все кругом было покрыто цветущим боярышником. Луга были усеяны овцами. В небе большими стаями пролетали грачи. Во всем сказывалось богатство почвы и благотворность климата, и только дом совсем не нравился мне.

Пока я сидел так около канавы, крестьяне стали возвращаться с полей, но я был в таком унынии, что даже не пожелал им доброго вечера. Наконец солнце село, и я увидел струю дыма, поднимавшуюся прямо на фоне желтого неба. Хотя струйка эта и была не шире, чем дымок от свечи, но все-таки служила доказательством того, что в доме были огонь, и тепло, и ужин, и какое-то живое существо. Эта мысль ободрила меня.

И я пошел вперед по терявшейся в траве тропинке, которая вела к дому. Она казалась слишком незаметной, чтобы вести к обитаемому месту, но другой я не видел. Тропинка привела меня к каменной арке; рядом с ней стоял домик без крыши, а наверху арки виднелись следы герба. Очевидно тут предполагался главный вход, который не был достроен. Вместо ворот из кованого чугуна высились две деревянные решетчатые дверцы, связанные соломенным жгутом; не было ни садовой ограды, ни малейшего признака подъездной дороги, но тропинка, по которой я шел, обогнула арку с правой стороны и, извиваясь, направилась к дому.

Чем ближе я подходил к нему, тем угрюмее он казался. Это был, должно быть, только один из флигелей недостроенного дома. Во внутренней части его верхний этаж не был подведен под крышу, и в небе вырисовывались нескончаемые уступы и лестницы. Во многих окнах не хватало стекол, и летучие мыши влетали и вылетали туда и обратно, как голуби на голубятне.

Когда я подошел совсем близко, уже начинало темнеть, и в трех нижних окнах, расположенных высоко над землей, очень узких и запертых на засов, замерцал дрожащий свет маленького огонька.

Так вот тот дворец, куда я иду! Вот те стены, в которых я буду искать новых друзей и должен начать блестящую карьеру! Там, в Иссен-Уотерсайде, в доме моего отца, яркий огонь светил на милю вокруг и дверь отворялась для каждого

нищего.

Я осторожно шел вперед, навострив уши, и до меня донеслись звуки передвигаемой посуды и чьего-то сухого сильного кашля, но не было слышно ни голосов, ни даже лая собаки.

Большая дверь, насколько я мог различить при тусклом вечернем свете, была деревянная, вся утыканная гвоздями, и я с робким сердцем поднял руку и постучал один раз. Потом стал ждать. В доме воцарилась мертвая тишина. Прошла минута, и ничто не двигалось, кроме летучих мышей, шнырявших над моей головой. Я снова постучал, снова стал слушать… Теперь мои уши так привыкли к тишине, что я слышал, как часы внутри дома отсчитывали секунды, но тот, кто был в доме, хранил мертвое молчание и, должно быть, затаил дыхание. Я уже думал, не убежать ли мне, но гнев пересилил; я стал колотить руками и ногами в дверь и громко звать мистера Бальфура. Едва я вошел в азарт, как услышал над собой кашель. Отскочив от двери и взглянув наверх, я в одном из окон верхнего этажа увидел человека в высоком ночном колпаке и расширенное к концу дуло мушкетона.

– Он заряжен, – произнес голос.

– Я принес письмо мистеру Эбенезеру Бальфуру из Шооса, – сказал я. – Здесь он?

– От кого? – спросил человек с мушкетоном.

– Это вас не касается, – возразил я, начиная раздражаться.

– Хорошо, – ответил он, – можешь положить его на порог и убираться.

– Уж этого-то я не сделаю! – воскликнул я. – Я отдам его мистеру Бальфуру в собственные руки, как мне велено. Это рекомендательное письмо.

– Что такое? – резко крикнул голос. Я повторил свои слова.

– Кто же ты сам? – был следующий вопрос после значительной паузы.

– Я не стыжусь своего имени, – сказал я. – Меня зовут Давид Бальфур.

Я убежден, что при этих словах человек вздрогнул, потому что услышал, как мушкетон брякнул о подоконник. Следующий вопрос был задай после долгого молчания и странно изменившимся голосом:

– Твой отец умер?

Я так был поражен, что не мог отвечать, и в изумлении смотрел на него.

– Да, – продолжал человек, – наверное он умер, и вот почему ты ломаешь мои двери.

Опять пауза, а затем он сказал вызывающе:

– Что ж, я впущу тебя, – и исчез из окна.

III. Я знакомлюсь со своим дядей

Вскоре послышался лязг цепей и отодвигаемых засовов; дверь была осторожно приотворена и немедленно закрыта за мной.

– Ступай на кухню и ничего не трогай, – сказал голос.

И пока человек, живший в доме, снова укреплял затворы, я ощупью добрался до кухни.

Ярко разгоревшийся огонь освещал комнату с таким убогим убранством, какого я никогда не видел. С полдюжины мисок и блюд стояло на полках; стол был накрыт для ужина: миска с овсяной кашей, роговая ложка и стакан слабого пива. В этой большой пустой комнате со сводчатым потолком ничего больше не было, кроме нескольких закрытых на ключ сундуков, стоявших вдоль стены, и посудного шкафа с висячим замком в углу.

Закрепив последнюю цепь, человек вернулся ко мне. Он был небольшого роста, сутуловат, с узкими плечами и землистым цветом лица; ему могло быть от

пятидесяти до семидесяти лет. На нем был фланелевый ночной колпак и такой же халат, надетый сверх истрепанной рубашки и заменявший ему и жилет и кафтан. Он, очевидно, давно не брился. Но более всего тревожило и даже страшило меня то, что он все время не спускал с меня глаз и вместе с тем ни разу не взглянул мне прямо в лицо. Я никак не мог догадаться, кто он по рождению или по занятию. Более всего он был похож на старого, отслужившего свой век слугу, которого за харчи приставили смотреть за домом.

– Ты проголодался? – спросил он, и взгляд его забегал на уровне моего колена. – Можешь съесть эту кашу.

Я сказал, что это, вероятно, его собственный ужин.

– О, – сказал он, – я могу отлично обойтись без него. Но я выпью эля: он смягчает мой кашель.

Он выпил около полустакана, все время не спуская с меня глаз. Затем быстро протянул руку.

– Покажи письмо, – сказал он.

Я сказал, что письмо адресовано не ему, а мистеру Бальфуру.

– А за кого ты меня принимаешь? – спросил он. – Дай мне письмо Александра!

– Вы знаете, как звали моего отца?

– Было бы странно, если бы я этого не знал, – отвечал он. – Он был мне родным братом, и, хотя тебе, кажется, очень не по вкусу и я сам, и мой дом, и моя прекрасная овсянка, я все-таки твой родной дядя, мой милый, а ты – мой родной племянник. А потому отдай мне письмо, а сам пока ешь.

Будь я моложе на несколько лет, я, вероятно, расплакался бы от стыда, отвращения и разочарования. Теперь же я не мог произнести ни слова, но молча отдал ему письмо и стал есть кашу так неохотно, насколько это возможно для здорового юноши.

В это время дядя мой, наклонясь к огню, вертел письмо в руках.

– Знаешь ли ты, что в нем? – внезапно спросил он.

– Вы сами видите, сэр, – сказал я, – что печать не сломана.

– Гм… – сказал он. – Что же тебя привело сюда?

– Я хотел отдать письмо, – сказал я.

– Ну, – сказал он с хитрым видом, – ведь у тебя были, вероятно, какие-нибудь надежды.

– Сознаюсь, сэр, – отвечал я, – узнав, что у меня есть состоятельные родственники, я действительно надеялся, что они мне смогут помочь. Но я не нищий, я не ищу милости у вас и не прошу ничего, что дается неохотно. Хоть я и кажусь бедным, но у меня есть друзья, которые будут рады помочь мне.

– Ну, ну, – сказал дядя Эбенезер, – нечего тебе фыркать на меня. Мы еще отлично поладим. А затем, Дэви, если ты не хочешь этой каши, то я доем ее сам. Да, – продолжал он, завладев моим стулом и ложкой, – овсяная каша – славная, здоровая пища, важная пища. – Он вполголоса пробормотал молитву и принялся ужинать. – Твой отец очень любил поесть, я помню. Можно было назвать его если не большим, то, по крайней мере, усердным едоком. Что же касается меня, то я всегда только чуть притрагивался к пище. – Он глотнул пива, и это, вероятно, напомнило ему об обязанностях гостеприимства, потому что следующими его словами были: – Если ты хочешь пить, то найдешь воду за дверью.

На это я ничего не ответил, но упорно продолжал стоять и глядеть с большим гневом на моего дядю. Он продолжал торопливо есть и бросал быстрые взгляды то на мои башмаки, то на чулки домашней вязки. Только раз, когда он решился взглянуть немного повыше, глаза наши встретились, и даже на лице вора, пойманного на месте преступления, не могло отразиться столько страха. Это заставило меня призадуматься над тем, не происходила ли его боязливость от непривычки к людскому обществу, не пройдет ли она после небольшого опыта и не станет ли мой дядя совсем другим человеком. От этих мыслей меня пробудил его резкий голос.

– Твой отец давно умер? – спросил он.

– Уже три недели, сэр, – отвечал я.

– Александр был скрытный человек, молчаливый человек, – продолжал он. – Он и в молодости мало разговаривал. Он говорил что-нибудь обо мне?

– Пока вы сами мне не сказали, сэр, я и не знал, что у него был брат.

– О господи! – воскликнул Эбенезер. – Верно, он и о Шоосе не говорил?

– Никогда даже не называл его по имени, – сказал я.

– Подумать только! – ответил он. – Странный человек!

Несмотря на это, он казался чрезвычайно довольным: самим ли собою, или мной, или поведением моего отца – этого я не мог угадать. Во всяком случае, у него, должно быть, прошло то чувство отвращения или недоброжелательства, которое он сначала испытывал ко мне, потому что он вдруг вскочил, прошелся по комнате за моей спиной и хлопнул меня по плечу.

– Мы еще отлично поладим! – воскликнул он. – Я положительно рад, что впустил тебя. А теперь пойдем спать.

К моему великому удивлению, он не зажег ни лампы, ни свечи, а ощупью вошел в темный проход; ощупью, тяжело дыша, поднялся на несколько ступенек, остановился перед какой-то дверью и отомкнул ее. Я спотыкался, стараясь следовать за ним по пятам, и теперь стоял рядом. Он предложил мне войти, так как это и была моя комната. Я послушался, но, сделав несколько шагов, остановился и попросил свечку.

– Ну, ну, – проговорил дядя Эбенезер, – сегодня чудная лунная ночь.

– Сегодня нет ни луны, ни звезд, сэр, и тьма кромешная, – сказал я. – Я не могу найти постель.

– Ну, ну, – ответил он, – я не люблю, чтобы в доме был свет. Я страшно боюсь пожара. Спокойной ночи, Дэви, мой милый.

И не успел я выразить еще раз свой протест, как он захлопнул дверь, и я услышал, как он запирал меня снаружи. Я не знал, плакать ли мне или смеяться. В комнате было холодно, как в колодце, а когда я наконец нашел постель, она оказалась мокрой, как торфяное болото. Но я, к счастью, захватил с собой свой узел с вещами и, завернувшись в плед, улегся на полу около большой кровати и быстро заснул.

С первым проблеском дня я открыл глаза и увидел, что нахожусь в большой комнате, обитой тисненой кожей, обставленной дорогой вышитой мебелью и освещаемой тремя прекрасными окнами. Лет десять, а может быть, и двадцать назад нельзя было бы желать более приятной комнаты для сна или пробуждения, но с тех пор сырость, грязь, заброшенность, мыши и пауки сделали свое дело. Кроме того, некоторые оконные рамы были сломаны, но в Шоос-гаузе это было обычным явлением, точно моему дяде приходилось когда-нибудь выдерживать осаду своих возмущенных соседей, может быть, с Дженет Клоу-стои во главе.

Между тем на дворе светило солнце, а я так замерз в этой печальной комнате, что начал стучать и кричать, пока не пришел мой тюремщик и не выпустил меня. Он повел меня за дом, где был колодец с бадьей, и сказал, что, «если мне нужно, я могу вымыть тут лицо». Я вымылся и добрался как мог до кухни, где он развел огонь и стряпал овсяную кашу. На столе стояли две чашки с двумя роговыми ложками, но все тот же единственный стакан легкого пива. Вероятно, я посмотрел на него с некоторым удивлением, и мой дядя заметил это, потому что, как бы в ответ на мою мысль, он спросил, не хочу ли я выпить эля – так он называл свое пиво.

Я сказал ему, что, хотя у меня есть такая привычка, я не желаю его беспокоить.

– Ну, ну, – сказал он, – я не отказываю тебе в том, что благоразумно.

Он снял с полки другой стакан, но, к моему великому изумлению, вместо того чтобы нацедить еще пива, перелил ровно половину из первого стакана во второй. В этом было какое-то благородство, от которого у меня захватило дух. Хотя мой дядя бесспорно был скрягой, но принадлежал к той высшей породе

скупцов, которые могут заставить уважать свой порок.

Когда мы кончили завтрак, мой дядя открыл сундук и вынул из него глиняную трубку и пачку табаку, от которой отрезал ровно столько, чтобы набить себе трубку, а остальное запер снова. Затем он уселся на солнце у одного из окон и стал молча курить. Время от времени глаза его останавливались на мне, и он выпаливал какой-нибудь вопрос. Раз он спросил:

– А твоя мать?

И когда я сказал, что и она также умерла, он прибавил:

– Красивая была девушка!

Потом опять после длинной паузы:

– А кто такие твои друзья?

Я сказал ему, что то были различные джентльмены, носящие фамилию Кемпбелл, хотя на самом деле только один из них, а именно священник, когда-либо обращал на меня внимание. Но я начинал думать, что дядя слишком легко относится к моему общественному положению, и желал доказать ему, что хотя я с ним теперь наедине, но у меня есть защитники.

Он, казалось, раздумывал о моих словах.

– Дэви, – сказал он потом, – ты хорошо сделал, что пришел к своему дяде Эбенезеру. Я высоко ставлю нашу фамильную честь и исполню свой долг относительно тебя, но пока я обдумываю, куда бы лучше тебя пристроить: сделать ли тебя дипломатом, или юристом, или, может быть, военным, что молодежь любит более всего. Я не хотел бы, чтобы Бальфур унижался перед северными Кемпбеллами, и потому прошу тебя держать язык за зубами. Чтобы не было никаких писем, никаких посланий, ни слова никому, иначе – вот дверь.

– Дядя Эбенезер, – отвечал я, – у меня нет основания предполагать, что вы желаете мне дурное. Но, несмотря на то, я желал бы убедить вас, что и у меня есть самолюбие. Я отыскал вас не по своей воле. И если вы еще раз укажете мне

на дверь, я поймаю вас на слове.

Он казался сильно смущенным.

– Ну, ну, – сказал он, – нельзя же так, мой милый, нельзя. Потерпи день или два. Я не колдун, чтобы найти тебе карьеру на дне суповой миски. Но дай мне день или два и не говори никому ни слова, и, честное слово, я исполню свой долг относительно тебя.

– Хорошо, – сказал я, – этого довольно. Если вы хотите помочь мне, то я, без сомнения, буду очень рад и очень вам благодарен.

Мне стало казаться (немного преждевременно), что я взял верх над моим дядей, и я заявил, что надо проветрить кровать и постельное белье и просушить их на солнце, потому что я ни за что не стану спать в таком неприятном месте.

– Кто здесь хозяин, ты или я? – закричал он своим пронзительным голосом, но вдруг сразу осекся. – Ну, ну, – прибавил он, – я не то хотел сказать. Что мое, то и твое, Дэви, а что твое, то и мое. Ведь кровь не вода, и на свете только мы двое носим имя Бальфуров.

И он начал бессвязно рассказывать о нашей семье и ее былом величии, о своем отце, начавшем перестраивать дом, о себе, о том, как он остановил перестройку, считая ее преступной растратой денег. Это навело меня на мысль передать ему проклятия Дженет Клоустон.

– Ах негодяйка! – заворчал он. – Тысячу двести девятнадцать – это значит каждый день с тех пор, как я продал ее имущество. Я бы хотел видеть ее поджаренной на горячих угольях, прежде чем это случится! Ведьма, настоящая ведьма! Я пойду переговорить с секретарем суда.

С этими словами он открыл сундук и вынул из него очень старый, но хорошо сохранившийся синий кафтан, жилет и довольно хорошую касторовую шляпу – все это без галунов. Он кое-как напялил это на себя и, взяв из шкафа палку, опять запер все на ключ и собрался уже уходить, как вдруг новая мысль остановила его.

– Я не могу оставить тебя одного в доме, – сказал он. – Мне придется запереть дверь и тебя не впускать.

Кровь прилила мне к лицу.

– Если вы выгоните меня из дому, то уже больше меня не увидите, – сказал я.

Он страшно побледнел и пососал губы.

– Это плохой способ, – сказал он, злобно глядя в пол, – это плохой способ добиться моего расположения, Давид.

– Сэр, – сказал я, – хотя я и питаю подобающее уважение к вашим летам и нашему роду, но мало ценю ваше расположение: меня учили уважать себя, и, если бы вы были десять раз моим единственным дядей и моей единственной семьей, я все-таки не стал бы покупать ваше расположение такою ценой.

Дядя Эбенезер подошел к окну и некоторое время глядел в него. Я видел, как он трясся и корчился, словно в судороге. Но когда он обернулся, на лице его играла улыбка.

– Ну хорошо, – сказал он, – надо терпеть и щадить. Я не уйду, и довольно об этом.

– Дядя, – сказал я, – я ничего не понимаю. Вы обращаетесь со мной, как с воришкой. Вам неприятно, что я в этом доме, вы даете мне понять это ежеминутно и на каждом слове. Невозможно, чтобы вы смогли полюбить меня. Я, со своей стороны, говорил с вами так, как ни с кем никогда не говорил. Зачем же вы хотите удержать меня? Отпустите меня обратно к моим друзьям, которые любят меня!

– Ну, ну, ну, – сказал он серьезно. – Я тебя очень люблю, мы еще отлично поладим, и честь дома не позволяет мне отпустить тебя туда, откуда ты пришел. Поживи здесь спокойно, будь умником, побудь некоторое время со мной, и ты увидишь, что мы поладим.

– Хорошо, сэр, – сказал я, подумав, – я немного поживу здесь. Конечно, справедливее получить помощь от родственника, чем от чужих, и если мы не поладим, то надеюсь, что не по моей вине.

IV. Я подвергаюсь большой опасности в Шоос-гаузе

День, начавшийся так дурно, прошел, сверх ожидания, довольно хорошо. В двенадцать часов мы опять ели холодную овсяную кашу, а вечером горячую; овсяная каша и легкое пиво составляли весь стол моего дяди. Он разговаривал мало и, так же как и прежде, после долгого молчания выпаливал свои вопросы, а когда я попытался навести его на разговор о моем будущем, он снова увернулся. В комнате рядом с кухней, куда он позволил мне пройти, я нашел множество латинских и английских книг, чтением которых я с большим удовольствием занялся до вечера. Время прошло так незаметно в этом приятном обществе, что я почти примирился с моим пребыванием в Шоос-гаузе, и только вид моего дяди и глаза его, как бы игравшие в прятки с моими глазами, вызывали во мне недоверие.

Я открыл нечто, возбудившее во мне сомнения. Это была надпись на первой страничке дешевой народной книги (Патрика и Уоркера), сделанная, очевидно, рукой моего отца и гласившая: «Моему брату Эбенезеру в пятую годовщину его рождения». Меня сбило с толку вот что: мой отец был младшим сыном в семье, стало быть, он совершил странную ошибку или же, не достигнув еще и пяти лет, уже писал превосходным, четким почерком.

Я старался выкинуть это из головы, но хотя я затем просмотрел много интересных книг, старых и новых, исторических, стихи и романы, мысль о почерке моего отца не покидала меня. И когда я наконец вернулся в кухню и снова уселся за кашу и пиво, я первым делом спросил дядю Эбенезера, был ли мой отец очень способен к учению.

– Александр? Нет, – отвечал он. – Я был гораздо способнее: я в детстве был умным мальчиком и научился читать одновременно с ним.

Это озадачило меня еще больше; мне пришло на мысль, не были ли они близнецами, и я спросил его об этом.

Он вскочил со стула, и роговая ложка выпала из его рук на пол.

– Зачем ты это спрашиваешь? – спросил он, схватив меня за плечо и глядя мне прямо в лицо; а глаза его, небольшие, светлые и блестящие, как у птицы, как-то странно мигали и щурились.

– Что вы хотите этим сказать? – спросил я спокойно. Я был значительно сильнее его, и меня нелегко было испугать. – Оставьте мою куртку. Так нельзя обращаться с людьми.

Мне показалось, что дядя мой сделал над собой большое усилие.

– Слушай, Давид, – сказал он, – ты не должен говорить со мной о твоем отце. В этом все дело. – Некоторое время он сидел неподвижно, но весь дрожа и не сводя немигающего взгляда с тарелки. – У меня, кроме него, не было братьев, – прибавил он, но совершенно бесчувственным голосом; затем взял ложку и принялся за ужин, все еще не переставая дрожать.

Все его поведение – то, что он поднял на меня руку, а потом неожиданно признался в любви к моему отцу – было выше моего понимания и возбудило во мне одновременно и страх и надежду. С одной стороны, я начинал думать, что мой дядя, пожалуй, сумасшедший и может быть опасен. С другой стороны (совершенно непроизвольно), в уме моем стала слагаться история наподобие слышанных мною когда-то народных баллад о бедном юноше, законном наследнике, и о злом родственнике, старавшемся отнять у него то, что ему принадлежало по праву. Если бы мой дядя в глубине души не имел причины бояться меня, то зачем ему было играть комедию с пришедшим к нему бедным, почти нищим родственником?

Хотя я не признавался себе в этой мысли, она тем не менее прочно засела в моей голове, и я, по примеру дяди, стал украдкой следить за ним. Так мы сидели за столом, как кошка с мышью, пристально наблюдая друг за другом. Он больше не говорил мне ни слова, но что-то усердно соображал. И чем дольше я наблюдал за ним, тем мне становилось яснее, что он замышляет что-то враждебное мне.

Убрав посуду, он достал табаку на одну трубку; так же как и утром, повернул стул к очагу и курил некоторое время, сидя спиной ко мне.

– Дэви, – сказал он наконец, – я вот о чем думаю… – Он остановился и еще раз повторил свои слова. – У меня есть немного денег, почти обещанных тебе еще до твоего рождения, – продолжал он, – я обещал их твоему отцу. О, без всяких формальностей, понимаешь, просто в разговоре за стаканом вина. Ну вот, я эти деньги держал отдельно – это было очень невыгодно, но что делать: обещал так обещал, и теперь эта сумма возросла ровно до… – тут он запнулся, – ровно до сорока фунтов! – Он произнес эти слова, взглядывая на меня через плечо, и потом почти с воплем прибавил: – Шотландскими деньгами!

Так как шотландский фунт равняется английскому шиллингу, то разница от этой оговорки получилась значительная. Кроме того, я видел, что вся эта история была ложью, выдуманною с какой-то целью, которую я затруднялся угадать. Поэтому я не пытался скрыть усмешку в голосе, ответив ему:

– О, припомните хорошенько, сэр! Вероятно, сорока фунтов стерлингов![2 - Один фунт стерлингов содержит 20 шиллингов.]

– Я это и хотел сказать, – отвечал дядя, – сорока фунтов стерлингов! И если ты на минутку выйдешь за дверь посмотреть, что делается на дворе, я достану их и позову тебя обратно.

Я исполнил его желание, презрительно улыбаясь его уверенности, что меня так легко обмануть. Ночь была темная, и только несколько звезд светилось над горизонтом, и в то время, как я стоял за дверью, я услышал глухой стон ветра между холмами. Я подумал, что в воздухе чувствуется приближение грозы и перемена погоды, но не предполагал, что еще до наступления ночи это будет иметь для меня огромное значение.

Позвав меня обратно, дядя отсчитал тридцать семь золотых гиней[3 - Гинея – старинная английская золотая монета, содержавшая 21 шиллинг (теперь гинеи уже не чеканят, но иногда еще применяют в качестве единицы денежного счета).]; остальные деньги, в мелких золотых и серебряных монетах, он держал в руках, но в последнюю минуту пожалел расстаться с ними и сунул их в карман.

– Ну вот, – сказал он, – ты видишь теперь! Я чудак и странно веду себя с чужими, но слово свое держу, и вот тебе доказательство.

Я считал своего дядю таким скупым, что онемел от его неожиданного великодушия и не мог найти слов, чтобы ему выразить свою благодарность.

– Ни слова! – сказал он. – Без благодарности, мне благодарности не надо. Я исполняю свой долг. Конечно, не всякий бы сделал это, ко мне доставляет удовольствие, хотя я и осторожный человек, отдать должное сыну моего брата. Мне приятно думать, что теперь мы поладим, как подобает таким близким людям.

Я отвечал ему со всей возможной учтивостью, но все время недоумевал, что будет дальше и почему он расстался со своими драгоценными гинеями: ведь даже ребенок не поверил бы его объяснениям.

Вслед за тем он опять искоса взглянул на меня.

– А теперь, – сказал он, – услуга за услугу.

Я отвечал, что готов доказать ему свою благодарность в разумной степени, и стал ждать какого-нибудь чудовищного требования. Однако, когда он, наконец, решился заговорить, то сказал только – и очень здраво, – что стареет и слабеет и надеется, что я помогу ему управляться в доме и в садике.

Я отвечал, что готов служить ему.

– Хорошо, – сказал он, – так начнем сейчас же. – Он вытащил из кармана заржавевший ключ. – Вот, – сказал он, – ключ от башни с винтовой лестницей, расположенной в конце дома. Войти в нее можно только снаружи, потому что та часть дома не достроена. Войди в башню, поднимись по лестнице и принеси мне ящик, находящийся наверху. В нем бумаги, – добавил он.

– Можно взять свечу? – спросил я.

– Нет, – ответил он с хитрым видом, – в моем доме нельзя зажигать огня.

– Прекрасно, сэр, – согласился я. – Лестница хорошая?

– Отличная лестница, – сказал он и, видя, что я ухожу, добавил: – Держись за стену, перил там нет. Но ступеньки очень удобны.

Я вышел в темноту. Ветер стонал где-то далеко, но около дома его не чувствовалось. Было страшно темно, и я был рад, что мог идти вдоль стены до самой двери башни на краю незаконченного флигеля. Я всунул ключ в замочную скважину и едва успел повернуть его, как вдруг, без всякого ветра или грома, все небо осветилось сильной молнией и затем снова потемнело. Мне пришлось закрыть глаза рукой, чтобы опять привыкнуть к темноте, и, войдя в башню, я был еще наполовину ослеплен.

Внутри стоял такой густой мрак, что я ничего не видел, но при первом же шаге натолкнулся рукой на стену, а ногой попал на нижнюю ступеньку лестницы. Стена на ощупь оказалась сложенной из хорошего тесаного камня; ступеньки были хотя немного круты и узки, но тоже из полированного камня – ровные и прочные. Памятуя слова моего дяди об отсутствии перил, я держался за стену и с бьющимся сердцем прокладывал себе дорогу в кромешной тьме.

Шоос-гауз был вышиной около пяти этажей, не считая чердаков. Но по мере того как я поднимался, мне казалось, что в башню проникает воздух и что становится чуть-чуть светлее. Я не мог понять причины этой перемены, как вдруг опять блеснула и пропала молния. Я не закричал только потому, что страх сдавил мне горло, и только по милости неба я не упал с лестницы. При блеске молнии я увидел не только многочисленные проломы в стене, так как я словно карабкался вверх по открытым лесам, но и то, что ступени здесь были неравной длины и нога моя в ту минуту была в двух дюймах от пустого пространства.

«Так вот она, эта отличная лестница!» – подумал я. При этой мысли мной овладела злоба, придавшая мне храбрости. Послав меня сюда, дядя подвергнул меня ужасной опасности, быть может, смертельной. Я поклялся, что выясню это «быть может», хотя бы мне для этого пришлось сломать себе шею. Я опустился на четвереньки и медленно, как улитка, продолжал подниматься по лестнице, ощупывая впереди каждый дюйм пространства и испытывая прочность каждого камня. От контраста с молнией темнота, казалось, удвоилась, но это было не все: странный шум, производимый летучими мышами в верхней части башни, оглушал меня и сбивал с толку; кроме того, слетая вниз, эти отвратительные животные иногда задевали меня по лицу или по спине.

Надо сказать, что башня была четырехугольная. В каждом углу для соединения маршей вместо забежной площадки лежало по большому камню различной формы. Я на ощупь добрался до одного из этих поворотов, как вдруг рука моя, соскользнув с угла, очутилась в пустом пространстве: лестница дальше не шла. Хоть я благодаря молнии и своей осторожности остался жив и невредим, но при одной мысли о грозившей мне гибели и о страшной высоте, с которой я мог упасть, холодный пот выступил у меня на лбу, и я почувствовал слабость во всем теле.

Узнав теперь все, что я желал знать, я повернул обратно и ощупью стал спускаться, затаив в сердце страшную злобу. Когда я спустился до половины, ветер с шумом налетел, потрясая башню, и снова стих. Затем пошел дождь, и, прежде чем я успел добраться до низа, он уже лил как из ведра. Я выставил голову наружу и взглянул в сторону кухни. Дверь, которую, уходя, я закрыл за собой, теперь была открыта, и оттуда шел слабый луч света. Мне показалось, что я вижу какую-то фигуру, которая неподвижно стояла под дождем, точно прислушиваясь. Затем сверкнула ослепительная молния и осветила дядю, стоявшего на том самом месте, где я предполагал его видеть. И тотчас последовал сильный раскат грома.

Принял ли мой дядя раскат грома за шум моего падения или он услышал в нем глас божий, возвещавший о совершившемся преступлении, об этом я предоставляю вам догадаться самим.

Во всяком случае, достоверно то, что его охватил панический ужас, и он вбежал в дом, оставив дверь открытой. Я последовал за ним как мог осторожнее, вошел неслышно в кухню и стал наблюдать.

Он уже успел открыть угловой шкаф, вынул оттуда большой графин с водкой и теперь сидел за столом спиною ко мне. Время от времени у него делались приступы сильной дрожи, он громко стонал и, поднося графин ко рту, большими глотками пил неразбавленный спирт.

Я подошел к нему сзади и, внезапно ударив его по плечу, закричал:

– А!

Дядя испустил слабый крик, похожий на блеяние овцы, уронил руки и упал замертво. Это меня немного смутило. Но надо было прежде всего позаботиться о себе, и я, не колеблясь, оставил его лежать на полу. Ключи висели в шкафу, и я намеревался запастись оружием, прежде чем дядя придет в чувство и приобретет снова способность замышлять зло. В шкафу было несколько бутылок, некоторые, по-видимому, с лекарством, затем много счетов и всякого рода бумаг, которые я бы охотно перерыл, будь у меня время, и другие предметы, ненужные мне в эту минуту. Я принялся за сундуки: первый был наполнен мукой, второй – мешками с деньгами и бумагами, связанными пачками; в третьем я между прочими вещами нашел заржавевший, безобразный на вид шотландский кинжал без ножен. Я засунул его себе за жилет и вернулся к дяде.

Он по-прежнему лежал там, где упал, скорчившись, с вытянутой рукой и ногой; лицо его посинело, и казалось, он перестал дышать. Я испугался, не умер ли он, принес воды и стал брызгать ему в лицо. Он начал приходить немного в себя, шевелить губами и хлопать веками. Наконец он увидел меня, и в глазах его появилось выражение смертельного страха.

– Ну, – сказал я, – попробуйте сесть.

– Ты жив? – всхлипнул он. – Скажи, жив ли ты?

– Да, я жив, – отвечал я. – Не вам за это спасибо. Он стал тяжело дышать.

– Синий пузырек… – сказал он. – В шкафу синий пузырек. – Дыхание его все замедлялось.

Я подбежал к шкафу и нашел там синий пузырек с лекарством. Доза была обозначена на ярлыке, и я, насколько мог скорее, дал ему выпить.

– Это все из-за сердца, Дэви: ведь у меня прескверное сердце, – сказал он, придя немного в себя.

Я посадил его на стул и взглянул на него. Правда, мне было немного жалко такого больного человека, но во мне кипел справедливый гнев. Я задал ему несколько вопросов, на которые желал получить ответ: зачем он мне лгал на каждом слове? Отчего он боялся, чтобы я не ушел от него? Отчего он не переносил намека на то, что он и мой отец были близнецами? Оттого ли, что это

правда? Зачем он дал мне деньги, которые, наверное, я не имел права требовать? И, наконец, зачем он пытался погубить меня? Он слушал молча, потом разбитым голосом попросил меня позволить ему лечь в постель.

– Я завтра расскажу тебе все, – сказал он, – ей-богу, расскажу.

Он был так слаб, что я не мог не выполнить его просьбу, однако запер его в комнате и спрятал ключ в карман. Затем, вернувшись на кухню, развел такой огонь, какого здесь, вероятно, не бывало уже много лет, закутался в плед, улегся на сундуках и заснул.

V. Я иду в Куинзферри

Ночью шел сильный дождь, а на другой день дул резкий северо-западный ветер, гнавший рассеянные облака. Несмотря на это, я до восхода солнца, пока еще не исчезли последние звезды, пошел на берег быстрого глубокого ручья и искупался. Тело мое еще горело от купания, когда я снова уселся у очага и, подбросив дров, начал серьезно раздумывать о своем положении.

Теперь не было никакого сомнения, что дядя мне враг. Не было сомнения, что я сам должен оберегать свою жизнь, а он сделает все возможное, чтобы погубить меня. Но я был молод, отважен и, как большинство молодых людей, воспитанных в деревне, очень много воображал о своей проницательности. Я пришел в его дом почти нищим и едва выйдя из детского возраста; он встретил меня предательством и насилием. Хорошо было бы прибрать его к рукам и управлять им, как стадом овец.

Я обхватил колено руками и, улыбаясь, смотрел в огонь. Воображение рисовало мне, как я мало-помалу открываю одну за другой тайны моего дяди и становлюсь его повелителем. Говорят, что иссендинский колдун смастерил зеркало, в котором можно было читать будущее. Оно, должно быть, было сделано не из горящих углей, потому что среди образов и картин, рисовавшихся мне, не было ни корабля, ни моряка в мохнатой шапке, ни дубины для моей глупой головы, ни малейшего намека на те напасти, которые вскоре обрушились на меня.

Теперь же я, очень довольный собой, пошел наверх и освободил своего пленника. Он учтиво пожелал мне доброго утра, и я ответил ему тем же, улыбаясь с высоты сзоего величия. Вскоре мы сидели за завтраком так же, как накануне.

– Ну, сэр, – сказал я язвительным тоном, – что вы имеете мне сказать? – Не получив членораздельного ответа, я продолжал: – Я думаю, что нам пора понять друг друга. Вы принимали меня за деревенского простофилю, у которого ума и храбрости не больше, чем у деревяшки. Я считал, что вы хороший человек или, во всяком случае, не хуже других. Оказывается, что мы оба ошиблись. Что вас заставило бояться меня, обманывать меня, покушаться на мою жизнь?

Он пробормотал что-то про шутку и что он любит посмеяться. Затем, видя, что я улыбаюсь, переменил тон и стал уверять, что он все объяснит мне после завтрака. Я видел по его лицу, что он хотя и старался, но не успел еще придумать новой лжи, и хотел сказать ему это, когда нас прервал стук в дверь.

Приказав моему дяде оставаться на месте, я отворил дверь и заметил на пороге подростка в матросском костюме. Едва он увидел меня, как начал, прищелкивая пальцами и притопывая в такт, выплясывать матросский танец, о котором я до сих пор не имел никакого представления. При этом он посинел от холода, и в его лице было какое-то жалкое выражение, нечто среднее между смехом и слезами, плохо вязавшееся с его веселыми манерами.

– Что хорошего, браток? – спросил он хриплым голосом.

Я степенно осведомился, по какому делу он пришел.

– Дело? – переспросил он. – Мое дело – забава, – и начал петь:

В этом мое наслаждение в светлую ночь,

В лучшее время года.

– Хорошо, – сказал я, – если у тебя нет никакого дела, я буду так невежлив, что запру перед тобою дверь.

– Подождите! – закричал он. – Неужели вы не любите пошутить? Или вы хотите, чтобы меня поколотили? Я принес письмо от старого Хизи-ози господину Бальфуру. – При этих словах он показал мне письмо. – А затем, браток, – прибавил он, – я смертельно проголодался.

– Хорошо, – сказал я, – войди в дом, и я отдам тебе свой завтрак.

С этими словами я провел его в дом и усадил на свое место. Он с жадностью накинулся на остатки завтрака, время от времени кивая мне и делая всевозможные гримасы: бедняжка, очевидно, считал это очень благородным обращением. Тем временем мой дядя успел прочесть письмо и сидел задумавшись; потом вдруг встал и с живостью потащил меня в самый отдаленный угол комнаты.

– Прочти это, – сказал он и сунул мне в руки письмо. Оно и теперь лежит передо мной.

Гостиница «В боярышнике», Куинзферри.

Сэр, я стою здесь на якоре и посылаю своего юнгу уведомить вас об этом. Если вы имеете что-либо заказать за морем, то завтра представится последний случай, так как ветер будет благоприятствовать нашему выходу из залива. Не скрою от вас, что у меня были неприятности с вашим поверенным, м-ром Ранкэйлором; и если дело не будет быстро приведено в порядок, то вас могут ожидать некоторые убытки. Я выписал вам счет, согласно записей в книге, и остаюсь вашим покорным слугой.

Элиасом Хозизеном.

– Видишь ли, Дэви, – объяснил мне дядя, как только я прочел письмо, – у меня есть дела с этим Хозизеном, капитаном торгового судна «Конвент» из Дайзерта. Если бы мы оба пошли теперь с этим мальчишкой, мы могли бы повидаться с капитаном или в гостинице, или, если понадобится подписать какие-нибудь бумаги, на самом «Конвенте». А чтобы не терять времени, мы можем пойти к стряпчему, мистеру Ранкэйлору. После того, что случилось, ты не захочешь верить мне на слово, но ты можешь поверить Ранкэйлору. Это старый и весьма уважаемый человек, поверенный доброй половины здешних дворян. Он знал и твоего отца.

Я некоторое время размышлял. Меня хотели повести в порт, где, без сомнения, много народу и мой дядя не сможет причинить мне ничего дурного. Кроме того, меня предохраняло и присутствие юнги. Раз мы будем там, я сумею настоять на визите к стряпчему, даже если мой дядя теперь и неискренне предлагает это. А может быть, мне просто хотелось в глубине души увидеть вблизи море и корабли, – вы должны помнить, что я всю жизнь провел среди холмов внутри страны и только два дня назад в первый раз увидел залив, расстилавшийся предо мной, как синяя пелена, по которой двигались парусные суда, казавшиеся игрушечными. Все это вместе заставило меня согласиться.

– Отлично, – сказал я, – пойдем в Куинзферри.

Мой дядя надел шляпу, кафтан и пристегнул к нему старый заржавевший кинжал. Затем мы потушили огонь, заперли дверь на замок и отправились в путь.

Холодный северо-западный ветер дул нам почти прямо в лицо. Был июнь. Трава пестрела маргаритками, деревья были в цвету, но, судя по нашим посиневшим ногтям и боли в руках, можно было подумать, что теперь зима и все осыпано снегом.

Дядя Эбенезер плелся по дороге, качаясь из стороны в сторону, как старый пахарь, возвращающийся с работы. За всю дорогу он не сказал ни слова, и мне оставалось только разговаривать с юнгой. Мальчик рассказал мне, что зовут его Рэнсом, что он плавает с девятилетнего возраста, а теперь уже потерял счет своим годам. Несмотря на сильный встречный ветер и на мои увещевания, он обнажил свою грудь, чтобы показать мне татуировку. Он чудовищно ругался, сквернословил по любому поводу, но делал это скорее как глупый школьник, чем взрослый человек, и бахвалился разными дикими и дурными поступками, которые будто бы совершил – тайными кражами, ложными обвинениями, даже убийством, – по все это сопровождалось такими неправдоподобными подробностями и такой дурацкой болтовней, что слова его внушали скорее жалость, чем доверие.

Я спросил его про бриг (он объявил, что это лучшее судно, которое когда-либо плавало) и про капитана Хозизена, которого он также горячо расхваливал. Хози-ози (так он продолжал называть шкипера) был, по его словам, человек, которому все нипочем, как на земле, так и на небе: человек, который не побоится и

Страшного суда, – грубый, вспыльчивый, бессовестный и жестокий. И этими качествами бедный юнга привык восхищаться, как чем-то присущим мужчине. Он видел только одно пятно на своем кумире: Хози-ози не моряк, говорил он, и бригом управляет его помощник, мистер Шуэн, который был бы лучшим моряком в торговом флоте, если бы не пил.

– Я в этом уверен, – прибавил он. – Посмотрите-ка, – и отвернул чулок: он показал мне большую открытую рану, при виде которой кровь похолодела у меня в жилах. – Это он сделал, это сделал мистер Шуэн, – сказал он с гордостью.

– Как, – воскликнул я, – и ты позволяешь ему так бесчеловечно обращаться, с тобой! Ведь ты не раб, чтобы терпеть такое обращение.

– Нет, – сказал дурачок, сразу меняя тон, – и я ему докажу это! Посмотрите. – И он показал мне большой нож, который, как он говорил, где-то украл. – О! – продолжал он. – Пускай попробует! Я ему задам! Мне не впервой! – И он подкрепил свои слова глупой, безобразной божбой.

Я никогда никого так не жалел, как этого полоумного мальчугана, и мне стало представляться, что бриг «Конвент» немногим лучше плавучего ада.

– Разве у тебя нет родственников? – спросил я. Он отвечал, что у него был отец в каком-то английском порту, название которого я забыл.

– Он был хороший человек, – сказал он, – но он умер.

– Боже мой! – воскликнул я. – Но разве ты не можешь найти себе честное занятие на суше?

– О нет! – сказал он, хитро подмигивая. – Меня бы отдали в ремесло. Знаю я эту штуку.

Я спросил, какое ремесло хуже того, которым он теперь занимается, подвергая свою жизнь постоянной опасности не только из-за ветра и моря, но и из-за ужасной жестокости его начальников. Он согласился со мной, сказав, что все это правда, но потом начал расхваливать свою жизнь, рассказывая, как приятно высаживаться на берег с деньгами в кармане и тратить их, как подобает

мужчине, – покупать яблоки, хвастаться и удивлять уличных мальчишек.

– И потом, мне вовсе уж не так плохо, – уверял он, – другим «двадцатифунтовым» приходится еще хуже. Боже мой, вы бы посмотрели, как им тяжело! Я видел человека ваших лет, – ему я казался старым – о, у него была борода! Ну, и как только мы выехали из реки и он протрезвел, боже мой, как он стал реветь! Уж и посмеялся я над ним! А потом еще малыши – они маленькие даже по сравнению со мной! Я держу их в строгости, уверяю вас. Когда мы возим ребят, у меня есть своя плетка стегать их!

И он продолжал в том же роде, пока я не догадался, что под «двадцатифунтовыми» он подразумевал несчастных преступников, которых отправляли в Северную Америку в рабство, или еще более несчастных детей, которых похищали или заманивали обманом (как о том рассказывали) ради выгоды или из мести.

В это время мы подошли к вершине холма и взглянули вниз на Куинзферри и долину. Фортский залив, как известно, в этом месте суживается до ширины большой реки, которая, направляясь к северу, представляет удобное место для перевоза, а верхняя излучина ее образует закрытую гавань для всякого рода судов. Как раз посреди узкой части гавани находится островок, а на нем – развалины; на южном берегу для надобностей перевоза был устроен мол, а на дороге по другую сторону мола высилось здание гостиницы «В боярышнике», окруженное живописным садиком с боярышником и остролистами.

Самый город Куинзферри лежит дальше к западу, и вокруг гостиницы в это время дня было довольно пустынно, так как паром с пассажирами только что отплыл к северу. Однако около мола покачивалась лодка с несколькими матросами, которые спали на скамейках. По словам Рэнсома, это была шлюпка с брига, ожидавшая капитана, а на расстоянии полумили от нее одиноко стоял на якоре «Конвент». На борту его были заметны приготовления к отплытию: реи водворялись на места; и, так как ветер дул с той стороны, я мог слышать пение матросов, тащивших канаты. После того, что я узнал дорогой, я смотрел на этот корабль с крайним отвращением и до глубины души жалел несчастных, которые должны были плыть на нем.

Когда мы все трое поднялись на вершину холма, я обратился к дяде.

– Считаю нужным заявить вам, сэр, – сказал я, – что меня ничто не заставит взойти на борт «Конвента».

Он как будто пробудился от сна.

– Э, – спросил он, – что такое?

Я повторил свои слова.

– Хорошо, хорошо, – сказал он, – придется сделать по-твоему. Но что же мы стоим? Здесь страшно холодно, и, если не ошибаюсь, «Конвент» снаряжается в путь.

VI. Что случилось в Куинзферри

Как только мы пришли в гостиницу, Рэнсом поднялся с нами по лестнице в маленькую комнату с кроватью. Угли, пылавшие ярким пламенем в камине, нагрели комнату до температуры обжигательной печи. За столом у камина сидел высокий, смуглый, степенного вида человек и писал. Несмотря на жару, на нем была толстая морская куртка, наглухо застегнутая, и большая мохнатая шапка, надвинутая на уши. Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь, даже судья при разборе дела, проявлял столько спокойствия и самообладания, как этот капитан.

Он тотчас же встал навстречу Эбенезеру и подал ему свою большую руку.

– Я весьма польщен вашим посещением, мистер Бальфур, – сказал он красивым низким голосом, – и рад, что вы пришли вовремя… Ветер попутный, и скоро качнется отлив. Мы еще до наступления ночи увидим огни на острове Мэй.

– Капитан Хозизен, – отвечал мой дядя, – у вас ужасно жарко в комнате.

– Такова моя привычка, мистер Бальфур, – сказал шкипер. – Я по природе человек холодный, у меня кровь холодная, сэр. Ни мех, ни фланель, ни даже горячий ром, сэр, не могут поднять моей температуры. Такое, сэр, бывает у

большинства людей, обожженных, как говорится, жаром тропических морей.

– Да, да, капитан, – отвечал мой дядя, – природы своей не изменишь.

Но случилось так, что эта привычка капитана сыграла большую роль в моих несчастьях. Хоть я и дал себе слово не спускать глаз со своего родственника, но мне не терпелось скорее взглянуть на море, и я так дурно почувствовал себя в душной комнате, что, когда дядя предложил мне спуститься вниз и немного прогуляться, я был настолько глуп, что воспользовался его предложением.

Я ушел, оставив обоих за бутылкой и большой кипой бумаг. Перейдя дорогу против гостиницы, я спустился ка берег. При настоящем направлении ветра до берега достигали только маленькие волны, немногим больше, чем бывают на озере. Но здесь росли травы, незнакомые мне: одни зеленые, другие коричневые и длинные, третьи – покрытые пузырьками, которые трещали в моих руках. И даже так далеко в заливе чувствовался резко соленый, возбуждающий запах морской воды. «Конвент» начинал развертывать паруса, повисшие на реях… И все это навело меня на мысль о дальних путешествиях и чужих странах.

Я разглядывал и матросов в лодке, высоких и загорелых парней; некоторые были в рубашках, другие в куртках, а иные с цветными платками на шее; у одного торчала из карманов пара пистолетов, у двоих были узловатые палки, и у всех – ножи. Я заговорил с одним из них, выглядевшим не таким отчаянным, как его товарищи, и спросил его, когда отправится бриг. Он ответил, что корабль двинется в путь с отливом, и порадовался тому, что они уйдут из порта, где нет ни трактиров, ни музыкантов; свои слова он сопровождал такой ужасающей бранью, что я поспешил отойти от него.

Я вспомнил о Рэнсоме, который показался мне все-таки лучшим из всей этой шайки. Он вскоре появился и сам и, подбежав ко мне, потребовал стакан пунша. Я сказал, что этого он не получит, потому что оба мы слишком молоды для такого баловства.

– Но я могу предложить тебе стакан эля.

Он начал гримасничать, кривляться и всячески поносить меня, но все-таки с радостью согласился выпить эля. И вскоре мы, усевшись за стол в передней комнате гостиницы, стали есть и пить с большим аппетитом.

Мне пришло на ум, что не мешало бы завести дружбу с хозяином гостиницы, здешним уроженцем, и я пригласил его присоединиться к нам, как водилось в те времена, но он был слишком важен, чтобы сидеть с такими незначительными гостями, как Рэнсом и я. Он уже собирался выйти из комнаты, но я остановил его и спросил, знает ли он мистера Ранкэйлора.

– Конечно, – ответил хозяин, – это весьма почтенный человек. И кстати, – продолжал он, – это вы пришли с Эбенезером?

Когда я сказал ему «да», он спросил:

– Вы не друг ли ему? – подразумевая, по шотландской манере, не родственник ли я ему.

Я отвечал, что нет.

– Я так и думал, – сказал хозяин, – а между тем у вас во взгляде есть что-то похожее на мистера Александра.

Я заметил, что Эбенезера здесь, кажется, недолюбливают.

– Без сомнения, – отвечал хозяин, – он злой старик, и многие желали бы его видеть в петле, например Дженет Клоустон и все, кого он разорил дотла. А между тем раньше он тоже был славным малым, до того как распространился слух о мистере Александре. С тех пор он стал совсем другим человеком.

– Что это был за слух? – спросил я.

– Да будто он убил его, – сказал хозяин. – Разве вы не слыхали?

– Зачем же ему было убивать его? – спросил я.

– Зачем же, как не затем, чтобы получить имение, – сказал он.

– Имение? – спросил я. – Шоос?

– Конечно, какое же другое? – сказал он.

– О, – заметил я, – это правда? Разве мой… разве Александр был старшим сыном?

– Разумеется, – сказал хозяин. – Иначе зачем бы Эбенезеру было убивать его?

С этими словами он ушел, что, впрочем, порывался сделать с самого начала.

Положим, я уже давно об этом догадывался, но одно дело догадываться, а другое – знать наверное. Я сидел пораженный своей удачей и едва мог поверить, что тот самый бедняк, который два дня тому назад шагал по пыли из Эттрикского леса, теперь попал в богачи, что ему принадлежат дом и обширные земли и он мог бы завтра же вступить во владения ими, если бы знал, как приняться за это. Тысячи подобных приятных мыслей толпились в моей голове, пока я сидел у окна гостиницы, не обращая внимания на то, что было у меня перед глазами. Помню только, что взгляд мой остановился на капитане Хозизене, стоявшем на молу и отдававшем какие-то приказания своим матросам. Вскоре он уже шагал обратно по направлению к дому. В нем не замечалось неловкости, свойственной морякам на суше: его высокая красивая фигура была мужественна, а лицо выражало прежнее спокойствие и серьезность. Я спрашивал себя, может ли быть, чтобы Рэнсом говорил правду, и почти не верил ему, так мало рассказы его соответствовали наружности этого человека. На самом же деле он не был ни таким хорошим, как я предполагал, ни таким дурным, каким считал его Рэнсом: в нем уживались два человека, и лучший из них исчезал, как только капитан вступал на борт своего судна.

Вскоре я услышал, что дядя зовет меня, и нашел их обоих на дороге. Капитан заговорил со мной серьезно, как с равным, что всегда очень лестно для юноши.

– Сэр, – сказал он, – мистер Бальфур очень хвалит вас, да и мне лично вы очень нравитесь. Я бы желал остаться здесь дольше, чтобы мы могли хорошенько познакомиться. Постараемся же воспользоваться тем временем, которое у нас остается. Придите на полчаса ко мне на бриг, до наступления отлива, и мы разопьем вместе бутылочку вина.

Нельзя выразить словами, как мне хотелось посмотреть на внутреннее устройство судна, но я не желал подвергаться опасности и сказал, что условился пойти с дядей к стряпчему.

– Да, да, – сказал Хозизен, – он говорил мне об этом. Но лодка высадит вас на берег у городского мола, а это в двух шагах от дома Ранкэйлора. – Он внезапно нагнулся и шепнул мне на ухо: – Берегитесь старой лисы: он замышляет недоброе. Едемте на корабль, чтобы мне можно было переговорить с вами. – Затем, взяв меня под руку, он продолжал громко, направляясь к лодке: – Что же мне привезти вам из штатов Каролины? Друг мистера Бальфура может приказывать мне. Табак, индейские перья, мех дикого зверя, пенковую трубку, дрозда-пересмешника, который мяукает, точно кошка, или красного, как кровь, американского зяблика? Выбирайте и скажите, что вам угодно.

В это время мы подошли к лодке, и он ввел меня в нее. Я и не пробовал сопротивляться: я думал – безумец! – что нашел доброго друга и помощника, и радовался, что увижу бриг. Как только мы уселись в лодку, ее оттолкнули от мола. Я был так восхищен новизной этого переезда, так заинтересовался видом берегов и брига, выраставшего по мере того, как мы к нему приближались, и тем, что мы сидели так низко над водой, что едва понимал слова капитана и отвечал ему наобум.

Как только мы подошли к борту брига (я сидел разинув рот, изумленный вышиной судна, шумом волн, ударявшихся о его борта, и оживленными возгласами матросов за работой), Хозизен объявил, что мы оба должны первыми взойти на корабль, и приказал спустить с грот-рея тали. Меня поспешно подняли на воздух и опустили на палубу, где капитан уже дожидался и сейчас же снова взял меня под руку. Так я стоял некоторое время, чувствуя небольшое головокружение, может быть, даже некоторый страх оттого, что все вокруг колебалось. Но все-таки мне нравились все эти новые для меня предметы; капитан обращал мое внимание на самые причудливые из них, называл их и рассказывал, для чего они предназначены.

– А где же дядя? – вдруг спросил я.

– Да, – сказал Хозизен, принимая вдруг свирепый вид, – в этом-то и вопрос.

Я понял, что погиб. Собрав все силы, я вырвался от него и подбежал к борту. Увидев лодку, направлявшуюся ся к городу, и дядю, сидевшего на корме, я испустил пронзительный крик: «Помогите, помогите, убивают!», огласивший обе стороны гавани. Дядя мой повернулся на своем месте, и я встретил его искаженный злобой и ужасом взгляд.

Это было последнее, что я заметил. Сильные руки оттащили меня от борта. И вдруг точно ударила молния… Я увидел вспышку света и упал без чувств.

VII. Я ухожу в море на «Конвенте» из Дайзерта

Я пришел в себя в темноте и почувствовал сильную боль во всем теле; руки и ноги мои были связаны, и множество незнакомых звуков оглушало меня. Слышался рев воды, точно у громадной мельничной плотины, раздавались тяжелые удары волн, страшный шум парусов и резкие крики матросов. Все кругом то поднималось с головокружительной быстротой, то так же быстро опускалось, а я сам был так разбит и чувствовал себя так плохо, что не мог отдать себе ясного отчета в своем положении. Мыслн в беспорядке толпились в моем мозгу, пока я наконец не догадался, что лежу связанный где-то внутри этого злосчастного брига и что ветер, должно быть, усилился и начался шторм. Вместе с сознанием своего положения мною овладело мрачное отчаяние, раскаяние в своем безрассудстве и безумный гнев на моего дядю… И я еще раз лишился чувств.

Когда я снова пришел в себя, тот же рев, те же беспорядочные и сильные толчки продолжали оглушать и трясти меня. Но к моим страданиям присоединилась еще болезнь непривычного к морю человека. В дни моей юности, полной приключений, я перенес много испытаний, но ни одно из них не было так ужасно для души и тела, не было так безотрадно, как мои первые часы на бриге.

Я услышал пушечный выстрел и подумал, что, вероятно, мы не можем справиться со штормом и подаем сигналы о помощи. Мысль об освобождении, хотя бы ценой смерти в глубине океана, обрадовала меня. Но я ошибся. Мне после сказали, что то было всегдашнее обыкновение капитана, и я рассказываю об этом, желая показать, что и худщие из людей имеют свои хорошие стороны. Оказалось, что мы проходили тогда в нескольких милях от Дайзерта, где был выстроен бриг и где несколько лет назад поселилась старая миссис Хозизен, мать капитана. И куда бы ни направлялся «Конвент», домой или в плавание, он никогда не проходил днем мимо этого места, не салютовав из пушки и не вывесив флага.

Я потерял счет времени: день не отличался от ночи в той вонючей конуре внутри корабля, где я лежал, а часы тянулись вдвое дольше обычного, потому что положение мое было безнадежно. У меня нет возможности вычислить, сколько времени я лежал, ожидая, что корабль разобьется в щепки о какой-нибудь утес или погрузится носом вперед в глубину океана. Но сон под конец лишил меня сознания моего несчастия.

Меня разбудил свет ручного фонаря, направленного мне в лицо. Небольшого роста человек, лет тридцати, с зелеными глазами и спутанными волосами, смотрел на меня.

– Ну, – спросил он, – как дела?

Я ответил ему рыданием. Он пощупал у меня пульс и виски, а потом обмыл и перевязал рану на моей голове.

– Да, – сказал он, – удар был жестокий. Ничего, ободрись! Еще не настал конец света. Ты неудачно начал, но можешь еще поправиться. Ел ты что-нибудь?

Я сказал, что не могу и смотреть на еду. Тогда он дал мне выпить из жестяной чашки коньяку с водой и оставил меня одного.

Когда он пришел еще раз, то нашел меня в состоянии, среднем между сном и бодрствованием. Глаза мои были широко раскрыты, морская болезнь уже прошла, но оставались страшная слабость и головокружение, которые, пожалуй, были еще мучительнее. Кроме того, у меня по-прежнему болело все тело, а веревки, связывавшие меня, казались мне огненными. Отвратительный воздух конуры, в которой я лежал, казалось, стал частью меня самого. Во время его долгого отсутствия меня терзали то бесцеремонные крысы, которые иногда задевали меня по лицу, то ужасные картины, рисовавшиеся в моем лихорадочном воображении.

Когда подняли трап, свет фонаря показался мне солнечным лучом, упавшим с неба; и хотя он осветил только крепкие темные стенки корабля, служившего мне тюрьмой, я готов был закричать от радости. Первым спустился ко мне по лестнице человек с зелеными глазами, и я заметил, что он двигался довольно неуверенно. За ним следовал капитан. Оба не произнесли ни слова, но первый стал осматривать меня и опять перевязал мою рану, а капитан бросил на меня

какой-то странный, мрачный взгляд.

– Вы сами видите, сэр, – сказал первый, – сильный жар, потеря аппетита, а здесь нет ни света, ни пищи… Вы сами понимаете, что это значит.

– Я не волшебник, мистер Райэч, – сказал капитан.

– Позвольте, сэр, – сказал мистер Райэч, – у вас хорошая голова на плечах, и за словом вы в карман не полезете. Но вам нечего сказать в свое оправдание, и я хочу, чтобы мальчика взяли из этой конуры и перенесли на бак.

– Ваши желания могут остаться при вас, – ответил капитан, – и я скажу вам, что будет. Где он лежит, там и останется.

– Допустим, что вам как следует заплатили, – сказал другой, – но осмелюсь почтительнейше заявить, что я-то ничего не получил. Я получаю, и не слишком много, за то, что исправляю должность помощника капитана этой старой посудины. И вы сами знаете, что я стараюсь не получать даром денег. Больше мне ни за что не платили.

– Если бы вы только воздерживались от фляжки, мистер Райэч, я не имел бы основания жаловаться на вас, – отвечал шкипер, – но, вместо того чтобы говорить загадками, я осмелюсь посоветовать вам приберечь свою энергию для более важного случая. Мы можем понадобиться наверху, – прибавил он более резким тоном и занес одну ногу на лестницу.

Мистер Райэч поймал его за рукав.

– Допустим, что вам заплатили за убийство, – начал он.

Хозизен, вспыхнув, повернулся к нему.

– Что такое? – закричал он. – Это что за разговоры?

– Мне кажется, это тот разговор, который вы лучше всего понимаете, – отвечал мистер Райэч, глядя ему прямо в лицо.

– Мистер Райэч, я был с вами в плавании три раза, – отвечал капитан. – За это время, сэр, вам следовало бы узнать меня: я жестокий и непреклонный человек, но то, что вы только что сказали – стыдитесь! – доказывает, что у вас злое сердце и гнусная совесть. Если вы думаете, что мальчишка умрет…

– Умрет! – ответил мистер Райэч.

– Ну, сэр, довольно с вас, – сказал Хозизен. – Тащите его куда хотите.

С этими словами капитан стал подниматься по лестнице. Я лежал молча во время их странного разговора и потом увидел, как мистер Райэч повернулся вслед Хозизену и поклонился ему чуть ли не до земли, очевидно в насмешку. Несмотря на свою болезнь, я заметил, во-первых, что помощник был пьян, как сказал капитан, а во-вторых, что он (в пьяном и трезвом виде) мог быть другом.

Через пять минут веревки на мне были перерезаны, меня подняли на чью-то спину, отнесли на бак и положили на деревянную скамью на кучу одеял. И я тут же лишился чувств.

Какое блаженство открыть глаза при дневном свете и увидеть, что находишься в обществе людей! Каюта на баке была довольно большая; вдоль стен ее тянулись койки, на которых сидели и курили или же спали матросы, свободные от вахты. День был тихий, с теплым ветром, и поэтому люк был открыт. В каюту попадал не только дневной свет, но время от времени, при поворотах корабля, и пыльный солнечный луч, ослеплявший и восхищавший меня. К тому же, как только я пошевельнулся, один из матросов принес мне какое-то целебное питье, составленное мистером Райэчем, и велел лежать смирно, говоря, что тогда только я скоро поправлюсь.

– У тебя ничего не сломано, – объяснил он, – а рана на голове – пустяки. Это я ударил тебя, – прибавил он.

На баке я пролежал долгие дни под неусыпным надзором и не только поправился, но и познакомился со своими товарищами. Это было сборище грубых людей. Оторванные от всего, что в жизни есть самого лучшего, матросы обречены были вместе качаться на бурных волнах под командой не менее грубого начальства. Одни из них прежде плавали с пиратами и видали дела, о которых и говорить совестно. Другие сбежали с королевских судов и были

приговорены к виселице, чего они ничуть не скрывали, и все они при удобном случае готовы были вступить врукопашную со своими лучшими друзьями. Но после того как я провел с ними несколько дней, мне стало стыдно моего первоначального суждения о них и того, что я поспешил уйти от них на молу в Куинзферри, точно они были нечистые животные. Нет людей совершенно дурных: у каждого есть свои достоинства и недостатки, и мои товарищи по плаванию не были исключением из этого правила. Правда, они отличались грубостью и были, по всей вероятности, дурные люди, по и у них замечались хорошие черты. Иногда они бывали очень добры, наивны, как деревенские парни, похожие на меня, и удивлявшие проблесками своей честности.

Один из них, человек лет сорока, часами просиживал у моей койки, рассказывая мне о своей жене и детях. Он был рыбаком, но лишился лодки, и это заставило его отправиться в открытое море. С тех пор прошло уже много лет, но я не забыл его. Жена – он говорил, что сравнительно с ним она была молода, – напрасно ждала его возвращения: он никогда больше не будет разводить по утрам ей огонь и нянчить ребенка, если она заболеет. В действительности, как показало будущее, многие из этих бедняков совершали свое последнее плавание: их поглотило потом море и акулы. А о мертвых не следует говорить дурное… Среди прочих их добрых дел было и то, что они возвратили мне деньги, которые сначала разделили между собой, и, хотя они уменьшились почти на целую треть, я все-таки очень обрадовался им в надежде, что они пригодятся мне в стране, куда я плыл. Бриг направлялся к Каролине, и вы не должны думать, что я ехал туда только в качестве изгнанника. Хотя торговля людьми уже и тогда была значительно ограничена, а с тех пор, после восстания колоний и образования Соединенных Штатов, понятно, совсем пришла к концу, но в дни моей юности белых людей еще продавали в рабство на плантации, и к этой-то участи приговорил меня злой дядя.

Юнга Рэнсом, от которого я впервые узнал обо всех этих ужасах, время от времени выходил из капитанской каюты, где он спал и прислуживал, и то безмолвно покназывал на следы нанесенных ему побоев, то проклинал жестокого мистера Шуэна. Сердце мое обливалось кровью при этом, но матросы относились с глубоким почтением к старшему помощнику капитана, который, как они говорили, был «единственным моряком во всей компании и вовсе не дурным человеком, когда бывал трезв». Действительно, я заметил странные особенности у наших обоих помощников: мистер Райэч бывал не в духе, груб и резок в трезвом состоянии, а мистер Шуэн и мухи не мог обидеть, пока не напьется. Я спросил про капитана, но мне сказали, что этот железный человек не меняется от выпивки.

Я старался как можно лучше использовать малое время, имевшееся в моем распоряжении, чтобы сделать из несчастного Рэнсома что-нибудь похожее на человека или, вернее, на мальчика. Но разум его с трудом можно было назвать человеческим. Из всего того, что предшествовало его поступлению на корабль, он помнил лишь, что отец его делал часы и что в гостиной у них висел скворец, насвистывавший песню «Северная страна». Все остальное стерлось из его памяти за годы тяжелой работы и грубого обращения с ним. У него были странные понятия о суше, составившиеся на основании рассказов матросов; по его мнению, это было место, где мальчиков отдавали в рабство, которое называлось ремеслом, где учеников постоянно колотили и заключали в смрадные тюрьмы. В городе он почти каждого встречного принимал за обманщика, расставляющего людям ловушки, а половину домов – за притоны, где матросов отравляют и убивают. Я, конечно, рассказывал Рэнсому, как хорошо со мной обращались на суше, которой он так боялся, и о моих родителях, и о друзьях, и о том, как сытно меня кормили и тщательно обучали.

Если случалось, что его перед тем били, он горько плакал и клялся, что сбежит, но когда он бывал в своем обыкновенном сумасшедшем настроении или – еще того чаще – когда он выпивал стакан водки в каюте, то поднимал меня на смех.

Его учил пить мистер Райэч – да простит ему бог! – и, без сомнения, с добрым намерением. Не говоря уже о том, что спирт разрушал здоровье мальчика, вид этого несчастного, одинокого ребенка, который покачивался, приплясывал и болтал бог весть что, был достоин жалости.

Некоторые матросы смеялись, глядя на него, но не все; другие становились мрачнее тучи (думая, вероятно, о собственном детстве и о своих детях), приказывая ему бросить эти глупости и подумать о том, что он делает. Что же касается меня, то мне было совестно смотреть на него, и теперь еще я часто вижу во сне этого несчастного ребенка.

Надо заметить, что ветер был все время противный, а встречное течение бросало «Конвент» то вверх, то вниз так, что люк был почти постоянно закрыт, и наша каюта освещалась только фонарем, висевшим на перекладине. Работы всегда было много для всех: паруса приходилось то ставить, то убавлять каждую минуту. Напряжение отзывалось на настроении команды: целый день, с утра и до вечера, слышался шум ссор. А так как мне не позволяли ступить на палубу, то вы можете себе представить, как надоела мне эта жизнь и с каким

нетерпением я ждал перемены…

Перемена эта произошла, как вы сейчас услышите, но прежде я должен рассказать о разговоре своем с мистером Райэчем, который придал мне немного бодрости в моих бедствиях. Поймав его в легкой стадии опьянения (в трезвом виде он никогда не заглядывал ко мне), я взял с него слово хранить мою тайну и рассказал ему свою историю.

Он объявил, что мой рассказ похож на балладу, но обещал сделать все возможное, чтобы помочь мне. Он велел мне достать бумагу, перо и чернила, чтобы я написал мистеру Кемпбеллу и мистеру Ранкэйлору, и уверял, что если я говорю правду, то с их помощью почти наверняка сумеет выручить меня из опасности и восстановить в правах.

– А пока, – сказал он, – не падай духом. Не с тобой первым это случается, поверь мне. Великое множество людей, возделывающих за морем табак, должны были бы садиться на лошадь у дверей собственного дома. Жизнь, в лучшем случае, полна неожиданных перемен. Посмотри на меня: я сын лорда, почти выдержал экзамен на доктора, а вот служу помощником у Хозизена!

Я из вежливости спросил про его историю.

Он громко свистнул.

– У меня ее никогда не было, – сказал он. – Я люблю пошутить, вот и все. – С этими словами он выскочил из каюты.

VIII. Капитанская каюта

Однажды вечером, около девяти часов, матрос, бывший на вахте с мистером Райэчем, спустился вниз за курткой. Вслед за ним по баку распространилась весть, что Шуэн наконец доконал его. Не было надобности называть имя: мы все знали, о ком шла речь. Едва успели мы освоиться с этой новостью и поговорить о ней, как люк снова открылся, и теперь уже капитан Хозизен спустился к нам по лестнице. Он пристально осмотрел койки при мерцающем свете фонаря, затем,

подойдя прямо ко мне, заговорил, к моему удивлению, довольно ласково.

– Ты нужен нам, любезный, – сказал он, – чтобы прислуживать в каюте. Ты обменяешься местами с Рэнсомом. Ступай скорей!

Пока он говорил, в люке появилось двое матросов с Рэнсомом на руках. В эту минуту корабль сильно нырнул, фонарь заколебался, и свет его упал прямо на мальчика: на его побелевшем как воск лице застыла ужасная улыбка. Кровь во мне похолодела и дыхание остановилось, точно меня поразил удар.

– Ступай на кормовую часть! Ступай скорей! – закричал Хозизен.

И я, прошмыгнув мимо матросов и безмолвного, неподвижного мальчика, взбежал по лестнице на палубу.

Корабль быстро прорезал длинную волну с белым гребнем. Она наваливалась на него с правого галса, а с левой стороны я мог видеть яркий солнечный закат под дугообразным основанием фок-сейла. В ночной час это чрезвычайно удивило меня, но я знал слишком мало, чтобы вывести верное заключение, что мы обходили с севера Шотландию и находились теперь в открытом море между Оркнейскими и Шотландскими островами, избегнув опасных течений Пентландской бухты. Проведя столько времени в потемках и ничего не зная о противных ветрах, я вообразил, что мы уже прошли полпути или даже более по Атлантическому океану. И, удивившись позднему закату, я сейчас же перестал думать об этом, прыгая с палубы на палубу, пробегая между парусами, хватаясь за канаты, и упал бы, если бы меня не удержал матрос, который всегда выказывал мне большое расположение.

Капитанская каюта, где я должен был отныне прислуживать и спать, возвышалась на шесть футов над палубами и сравнительно с величиной брига была обширных размеров. Внутри стояли прикрепленные к полу стол, скамейка и две койки: одна для капитана, а другая для двух старших помощников, которые спали на ней по очереди. Сверху донизу к стенам были приделаны запирающиеся шкафчики, куда прятались вещи начальствующих лиц и часть запасов судна. Внизу была другая кладовая, в которую вел люк, находившийся посредине палубы: там хранились главные запасы пищи, питья и весь порох. Все огнестрельные орудия, кроме двух медных пушек, стояли на козлах у задней кормовой стены капитанской каюты. Большинство кортиков было в другом

месте.

Маленькое окошко с наружными и внутренними ставнями и светлый люк на потолке освещали каюту днем, а после наступления сумерек в ней всегда горела лампа. Она горела и в ту минуту, когда я вошел, не особенно ярко, но достаточно, чтобы увидеть мистера Шуэна, сидевшего за столом, на котором стояли бутылка коньяку и жестяная манерка. Это был высокий, крепко сложенный и очень смуглый человек. Он сидел, бессмысленно уставясь на стол.

Мистер Шуэн не обратил внимания на мой приход и даже не шевельнулся, когда затем вошел капитан и прислонился к койке рядом со мной, мрачно глядя на своего помощника. Я очень боялся Хозизена, имея на то основательные причины, но что-то подсказало мне, что в эту минуту мне нечего опасаться его, и я шепнул капитану на ухо: «Что с ним?» Он покачал головой, как человек, который не знает, что и подумать, между тем как лицо его не изменяло своего сурового выражения.

Вскоре пришел мистер Райэч. По его взгляду, брошенному на капитана, можно было без слов понять, что мальчик умер. Он стал рядом с нами, и мы втроем молча смотрели на мистера Шуэна, который все так же сидел, не говоря ни слова и упорно глядя на стол.

Внезапно он протянул руку за бутылкой. Тут мистер Райэч шагнул вперед и отнял ее, что ему удалось не столько благодаря своей силе, сколько быстроте, с какой он это сделал. Он закричал, разразившись проклятиями, что и без того уже достаточно сделано зла, и побожился, что бриг понесет за это наказание. С этими словами он вышвырнул бутылку в море – выдвижная дверь была открыта с наветренной стороны.

Мистер Шуэн мигом вскочил на ноги. Его рассудок все еще был помрачен, и он совершил бы второе убийство в этот же вечер, если бы капитан не стал между ним и его жертвой.

– Садитесь! – заорал капитан. – Знаете ли, что вы сделали, свинья и пьяница? Вы убили мальчишку!

Мистер Шуэн, казалось, понял, потому что снова сел и положил руку себе на лоб.

– Но ведь он принес мне грязную манерку! – воскликнул он.

При этих словах я, мистер Райэч и капитан переглянулись с некоторым страхом во взгляде. Затем Хозизен подошел к старшему помощнику, взял его за плечи, довел до койки и приказал ему лечь и заснуть, уговаривая его, как непослушного ребенка. Убийца немного похныкал, затем сиял свои непромокаемые сапоги и послушно улегся.

– А, – воскликнул мистер Райэч ужасным голосом, – вам давно следовало вмешаться! Теперь уже слишком поздно.

– Мистер Райэч, – сказал капитан, – в Дайзерте никому не должно быть известно, что случилось в этот вечер. Мальчишка упал за борт, сэр, вот как было дело! И я бы охотно дал собственных пять фунтов, чтобы это было правдой! – Он повернулся к столу. – Зачем вы выбросили хорошую бутылку? – прибавил он. – В этом не было никакого смысла, сэр. Давид, достань мне другую бутылку. Они стоят в крайнем шкафчике. – И он бросил мне ключ. – Вам самим надо выпить стаканчик, сэр, – обратился он к Райэчу, – после того ужасного зрелища.

Оба сели и чокнулись. А преступник, который лежал на койке и стонал, в это время приподнялся и посмотрел на них и на меня.

В этот вечер я в первый раз приступил к своим новым обязанностям, а на следующий день уже совершенно освоился с ними.

Я должен был подавать пищу, которую капитан принимал в определенные часы с тем из помощников, который не был на дежурстве. Весь день мне приходилось бегать с бутылкой от одного к другому из моих трех начальников, а ночью я спал на морском одеяле, брошенном на крашеные доски в ближайшем к корме углу каюты, на самом сквозняке между двумя дверьми. Это была жесткая и холодная постель; кроме того, мне не давали спать без перерыва: постоянно кто-нибудь приходил с палубы выпить, а когда назначалось новое дежурство, все трое усаживались вместе распить стаканчик. Я не могу понять, как они оставались здоровыми и как оставался здоровым я сам.

Но в других отношениях служба эта была легкая: скатерти не постилались, еда состояла из овсяной каши или солонины, но два раза в неделю бывал пудинг.

Хотя я был довольно неуклюж и по непривычке к морю нетвердо держался на ногах, так что иногда падал с кушаньем, которое нес, капитан и мистер Райэч были удивительно терпеливы. Я не мог не думать, что их мучит совесть и что вряд ли они были бы так снисходительны ко мне, не обращайся они раньше так жестоко с Рэнсомом.

Что же касается мистера Шуэна, то пьянство, а может быть, совершенное им преступление или то и другое вместе несомненно повредили его рассудок. Я не могу припомнить, чтобы видел его когда-нибудь в нормальном состоянии. Он никак не мог привыкнуть к моему присутствию, не отрывая глаз, глядел на меня – иногда мне казалось, что даже с ужасом, – и несколько раз отшатнулся, когда я ему подавал. С самого начала я был почти уверен, что он не отдает себе отчета в том, что произошло, и на второй день своего пребывания в капитанской каюте убедился в этом. Мы были одни, и он долгое время пристально смотрел на меня, потом вдруг встал, бледный, как смерть, и, к моему великому ужасу, подошел ко мне. Но у меня не было причины бояться его.

– Тебя здесь прежде не было? – спросил он.

– Нет, сэр, – сказал я.

– Здесь был другой мальчик? – спросил он опять; и, когда я подтвердил это, сказал: – Да, я так и думал, – и, не говоря больше ни слова, сел обратно и потребовал коньяку.

Вам, может быть, покажется странным, что, несмотря на весь мой ужас, мне было все-таки жаль его. Он был женат, и жена его жила в Лидсе. Я забыл теперь, были ли у него дети; надеюсь, что нет.

Во всяком случае, жизнь моя в новом положении – она, как увидите, продолжалась недолго – была не слишком тяжела. Кормили меня так же, как и мое начальство; мне даже позволяли брать пикули – их самое изысканное блюдо, – и если б я только захотел, то мог бы напиваться с утра до вечера, как мистер Шуэн. У меня было общество, и сравнительно хорошее общество; мистер Райэч, учившийся некогда в колледже, со мной беседовал как с другом, когда бывал в веселом настроении, и сообщал мне много интересного и поучительного, а капитан хоть и не подпускал обычно меня к себе, но иногда бывал менее сдержанным и рассказывал о прекрасных странах, в которых ему

приходилось бывать.

Тень бедного Рэнсома лежала на всех, но особенно тяжело на мне и мистере Шуэне. Кроме того, у меня были собственные тревоги. В настоящее время я выполнял грязную работу для троих людей, которых считал ниже себя (по крайней мере, один из них должен был болтаться на виселице); а в будущем я представлял себя невольником, работающим наряду с неграми на табачной плантации. Мистер Райэч, может быть из предосторожности, не позволял мне больше говорить о моей истории; капитан же, с которым я пытался сблизиться, оттолкнул меня, как собаку. С каждым днем я все больше и больше падал духом, пока наконец не стал радоваться работе, заглушавшей мои думы.

IX. Человек с поясом, полным денег

Прошло более недели, и неудача, не оставлявшая до сих пор «Конвент», стала преследовать его еще сильнее. Иногда корабль немного продвигался вперед; в другие дни его относило назад. Наконец бриг отнесло так далеко к югу, что весь девятый день его швыряло взад и вперед в виду мыса Рез и его диких скалистых берегов. Состоялся совет начальников, и они приняли решение, которое я тогда не мог хорошенько понять, и увидел только его результаты: мы обратили противный ветер в попутный и быстро пошли к югу.

На десятый день, после полудня, волна стала спадать; густой, мокрый белый туман скрывал один конец судна от другого. Пошли на палубу. Я видел, как матросы и начальники к чему-то чутко прислушивались. «Нет ли буруна?» – говорили они. И хотя я не понимал этого слова, но опасность, которая чувствовалась в воздухе, возбуждала меня.

Часов около десяти вечера я подавал ужин мистеру Райэчу и капитану, как вдруг бриг обо что-то сильно ударился, и мы услышали пронзительные крики. Оба моих начальника вскочили.

– Мы на что-то налетели, – сказал мистер Райэч.

– Нет, сэр, – отвечал капитан, – мы только опрокинули лодку.

И они поспешно вышли.

Капитан был прав. Мы в тумане натолкнулись на лодку; она разбилась и пошла ко дну со всей командой, кроме одного человека. Этот человек, как я слышал впоследствии, помещался на корме в качестве пассажира, тогда как остальные сидели на банках и гребли. В момент удара корму подбросило в воздух, а человек – руки его были свободны, и ему ничто не мешало, кроме суконного плаща, спускавшегося ниже колен, – подпрыгнул и ухватился за бушприт корабля. То, что он сумел так спастись, говорило об его удачливости, ловкости и необыкновенной силе. А между тем, когда капитан повел его к себе в каюту и я впервые увидел его, он казался взволнованным не более моего.

Это был небольшого роста, но хорошо сложенный человек, подвижный, как коза; его приятное открытое лицо, очень загоревшее на солнце, было покрыто веснушками и сильно изрыто оспой. В его глазах, необыкновенно ясных, мелькало что-то безумное, привлекательное и в то же время тревожное. Сняв плащ, он положил на стол пару прекрасных пистолетов, выложенных серебром, и я увидел, что к поясу его пристегнута длинная шпага. Манеры его были изящны, и он очень любезно отвечал капитану. При первом же взгляде на него я подумал, что приятнее иметь его другом, чем врагом.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Лэрд – в Шотландии то же, что лорд в Англии.

2

Один фунт стерлингов содержит 20 шиллингов.

3

Гинея – старинная английская золотая монета, содержавшая 21 шиллинг (теперь гинеи уже не чеканят, но иногда еще применяют в качестве единицы денежного счета).

Купить: https://tellnovel.com/ru/robert-stivenson/pohischennyy

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить